



Борис Мирза

Режиссер, преподаватель, сценарист, писатель. Родился в Москве в 1971 году. Окончил ВГИК. Лауреат нескольких кинофестивалей, в том числе — Первого Международного Евроазиатского кинофестиваля стран СНГ и Балтии, Восток-Запад «Новое кино. XXI век». Автор двух изданных книг. Есть публикации в журналах «Знамя» и «Юность». Сборник рассказов и повестей «Девушка из разноцветных яблок» (изд. ЭКСМО) награжден дипломом «Открытие года» на отраслевом конкурсе «Ревизор».

Лысый Бобик

— Дебилы. Ну, просто дебилы.

Бобик всех нас считал дебилами. За редким исключением. Иногда мне казалось, что все учителя думают так же, но скрывают.

Бобик, он же Борис Александрович, отличался тем, что своего отношения к дебилам не скрывал. Говорил прямо:

— Домашнее задание?

— Дома забыл.

— Та-ак! Пшел вон домой за заданием, дебил!

Этот маленький крепкий человечек в вечных серых брюках и такой же серой бесформенной куртке, был героем почти мифическим. Что-то вроде бога смерти Анубиса в древнем Египте.

— Наклон! Где наклон?! — лаял древнеегипетский бог с головой волка в облике учителя черчения. — Что за шрифт?!

Так его представлял себе я, любитель древней истории. Другие же за блестящую круглую лысину в сочетании с именем Борис звали его «Бобик».

Свой предмет он любил, если вообще египетские божки способны любить.

Во всяком случае, ровные, с правильным наклоном буквы и цифры, симметричные фигуры, четкие линии — все это были важные атрибуты его культа.

На уроках черчения, где он безраздельно властвовал, атмосфера страха в сочетании с легким безумием пропитывала воздух.

Доски для черчения, похожие на большие пеналы, карандаши нужной твердости и скрип грифеля о бумагу, иногда прерываемый его замечанием:

— Та-ак! Что ты здесь рисуешь?! Чертить надо! Чертить! Выкинь в окно эту бумажку!

И опять тишина.

Иногда нашего Бобика-Анубиса посещало хорошее настроение. И тогда он начинал водить кулаками по учительскому столу и рассуждать. Темы для рассуждения могли быть в эти редкие моменты совершенно не имеющими отношения к черчению. Он рассуждал, будто с кем-то споря, о книгах:

— Та-ак! Зачем держать книги дома? Их надо прочитывать и сдавать в букинистический магазин!

И, помолчав, словно бы ожидая ответа, добавлял:

— Как я это делаю.

Спорить, конечно, никто не решался. И Бобик молча продолжал водить кулаками по столу в такт своим мыслям, а дебилы чертили и чертили.

Иногда он вдруг вспоминал молодость. Фронтовик, член КПСС с незапамятных времен, он высказался о преступлении, случившемся у нас в школе. Двое парней стырили модную тогда куртку у директорского сына. Попались глупо. В прозрачном карманчике на рукаве куртки лежал подписанный проездной билет настоящего хозяина. Скандал разразился серьезный, но все сумели замять, видимо приказом самого директора: боялись РОНО.

Но не так просто было заставить молчать Бобика:

— Таких, как ты, — проскрежетал Бобик, — я расстреливал в 1943 году за то, что они чемоданы на вокзалах воровали.

И он погрозил виновнику обрубком пальца на правой руке.

— Именно, что расстреливал.

Я не сомневался, что так оно и было.

Бобик обвел класс торжествующим взором.

— Сегодня мы будем делать чертеж...

Конечно, против диктатуры Бобика школьный народ пытался бороться так, как могут бороться нубийские рабы с древнеегипетским богом. То есть ехидно и исподтишка. На стене туалета, куда ходил на перемене учитель, появилась надпись: «ДЯДЯ БОБИК — ЛЫСЫЙ ЛОБИК».

Тогда Борис Александрович стал ходить в другой туалет, этажом ниже. Но вскоре уже и там на стене красовался лозунг: «ЛЫСЫЙ БОБИК — БРИТЫЙ КАКТУС».

Бобик зеленел от злости, но сделать ничего не мог. Расследование не помогло установить виновника. Его ненавидели почти так же, как боялись, поэтому желающих выдать преступников не нашлось.

Я прекрасно помню момент, когда это произошло. Когда он понял, что сделать ничего не удастся. Я видел, как он медленно стекленеет, и глаза его действительно начинают напоминать глаза бога мертвецов — Анубиса.

— Ну, что ж! — каркнул он и вышел из класса.

Пройдя мимо двух туалетов, испорченных возмутительным надписями, он зашел в еще один. Женский. И, сделав свои дела, вышел оттуда, сопровождаемый недоуменными взглядами.

Уловив общее удивление, Бобик изрек:

— Вот так! — и вскинул в победном жесте свой изуродованный палец. — Вот! Так даже ближе.

С тех пор он ходил только в этот туалет. Даже когда надписи смыли, даже когда в мужских комнатах сделали полный ремонт.

Он был непобедим в высокомерии и злости. И, кажется, сам провоцировал их. Это был редкий случай, когда талантливые и, как следствие, свободололюбивые учащиеся случайно оказались сгруппированы в одном классе. Бобик их невзлюбил. К ученикам из этого класса он придирался куда больше, чем к другим...

Однажды они принесли ему подарок на день рождения.

Объемный сверток, перевязанный красивыми ленточками, лежал на учительском столе. Борис Александрович просиял и стал разворачивать подарок у всех на глазах. Но под верхней бумагой оказалась еще бумага, затем еще и еще. И только в самом центре лежала маленькая расческа. Лысый Бобик, Бритый Кактус побледнел. Сказал свое обычное:

— Та-ак!

И замолчал, не зная, как продолжить...

Меня он презирал. Потому что для него я был не просто обычный дебил, а какая-то квинтэссенция всего самого дебильного, что может быть в ученике. Я был рассеян, неаккуратен, неточен и несмыслен. Ну, а чертить — просто не способен. Только недавно перейдя в эту школу, я сносно учился по всем предметам, но Бобик на полном серьезе и вполне справедливо собирался вкатать мне пару за год.

После урока я должен был остаться со своими чертежами.

Честно говоря, надежды у меня почти не было. Я заранее готовился к тому, что он исчеркает мои работы своим красным карандашом, и надеялся, что все это пройдет быстрее, чем обычно. В день экзекуции я уже сдался и оцепенел, как цепенеет птенец, выпавший из гнезда, когда к нему ползет змея.

Малюсенькая надежда была только на последний чертеж, который я выполнял под руководством товарищей пару дней и, кажется, сделал там больше, чем мог.

Бобик играл желваками и одной рукой водил, словно в трансе, по парте, а другой перечеркивал мои чертежи красным. Дошел до того самого. Последнего. Посмотрел на него. Отложил карандаш.

Посмотрел еще раз. И каркнул:

— Та-ак! Неплохо! Тебе помогли?

— Не-ет, — соврал я. — Это мой чертеж...

— Та-ак. Хорошо. Можно на стенд. На выставку работ.

Мне показалось, что сейчас он улыбнется. И я с любопытством ждал: какой окажется эта улыбка?

Он просто открыл журнал и уже собрался поставить мне вождевленную годовую тройку...

Но перед тем, как сделать это, Бобик еще раз взглянул на мой чертеж и швырнул его мне.

— Дебил! Учи русский язык!

У меня что-то оборвалось внутри. Я взглянул на свою работу. На ровные, без единой помарки линии, на цифры с правильным наклоном, на подпись и...

На слово «ключ», написанное с мягким знаком. На слово «ключь».

Я вдруг совершенно расслабился и перестал бояться. Поглядел в сияющие презрением глаза учителя и сказал:

— Русский язык выучу. А черчение у нас закончилось.

— Останешься на второй год — не закончится.

— Значит, не закончится, — ответил я и стал собирать чертежи в папку.

Руки у меня тряслись. Папка упала, и по полу рассыпалась чертежная бумага. А вместе с ней — мои рисунки из изостудии. Наброски, сюрреалистические подражания Максусу Эрнсту и совсем неудачный портрет мамы.

— Та-ак! — опять каркнул Бобик. — Что это?

— Это мои рисунки, — сказал я и начал укладывать листы в папку.

— Это кто? — он ткнул пальцем в портрет.

— Это портрет мамы.

— Это мама?

— Да.

Он взял портрет в руки и посмотрел ближе. Отложил в сторону. Еще раз покосился на неудачный мой рисунок.

— Та-ак! Это мама, да. Мама.

Он взял следующий рисунок, на котором большая птица нападала на маленького человечка.

— Это что?

— «Атака соловья».

— Чушь! Просто ерунда.

— Наверное.

— А это? — он отбросил рисунок и взял следующий.

— Это мягкие часы. Я видел у одного художника картину.

— Это не картина, а ерундистика.

Он посмотрел еще несколько моих рисунков. И вернулся к отложенному.

— Та-ак. А вот это, значит, портрет? Мама?

— Да.

Я уже перестал что-либо понимать и просто ждал.

— Мама. — опять произнес он и вдруг улыбнулся. Нет, не так, вдруг, его круглое лицо, прилепленное к лысой башке, растянулось в ослепительной улыбке. — Куда она смотрит?

— Я не знаю. Возможно, в пространство.

Он опять вышел из себя. Улыбка слетела с лица.

— Ни в какое не в пространство! — он поднял изуродованный палец вверх. — Она ждет сына с фронта. Вот та-ак. Все. Иди.

И он взял ручку и написал что-то в журнале. А пока я собирал рисунки и чертежи, вывел оценку в моем дневнике. Захлопнул и отдал.

Я попрощался. Он не ответил. Склонился над журналом и превратился в привычного Анобиса...

В коридоре я раскрыл дневник. Там, написанная выверенным шрифтом, с идеальным наклоном, выведенная твердой рукой опытного чертежника, стояла годовая четверка.

Ворона

Учитель был маленький, худой, в вечном коричневом костюме, перемазанном мелом. В учительской шептались, что от него сбежала жена к коллеге, и сам он должен был уйти из института, где работал, чтобы не стать бесконечной мишенью для насмешек. Чуть позже это узнали и мы, ученики.

Внешне он напоминал уменьшенную копию пародиста Иванова, который вел телепередачу и издевался над чужими стихами. Передача была популярна, и учителя тут же прозвали «Вокругсмеха».

Вокругсмеха преподавал у нас недолго, заменяя ушедшую в декрет любимую учительницу литературы Анну Абрамовну.

С ней мы могли рассуждать, разбирать произведения по-своему, высказывать мысли. Я очень увлекся этим.

Мы проходили «Горе от ума».

И как раз про эту пьесу я, казалось, придумал интересную, не соответствующую школьному учебнику версию. Дело в том, что...

Но Анна Абрамовна неожиданно ушла в декрет.

То есть этого можно было ожидать, глядя на ее все увеличивающийся живот. Но я все равно был обескуражен и расстроен. Каков-то будет новый учитель? И можно ли будет ему рассказать мою идею?

Разочарование меня постигло сразу. Вместо стремительной, живой и острой на язык Анны Абрамовны предстал перед нами измазанный мелом карлик — Вокругсмеха.

— Сегодня мы будем изучать параграф... — он полистал учебник. — Параграф...

— В учебнике нет параграфов — крикнул кто-то с задних рядов. — Это ж не физика.

— И задач тоже нет, — сказали откуда-то справа, — это не Рымкевич. Класс заржал. Задачник Рымкевича был пыткой для многих.

— Тише, тише, — сказал Вокругсмеха. — Тема: «Образ Чацкого». В плане его соответствия передовой мысли того времени...

После этого Вокругсмеха понес все, что обычно говорят по теме. Словно бы он хорошо выучил нужный несуществующий параграф. В классе заскучали.

— На каком месяце Анна Абрамовна была? — прошептала красавица Нонна Джигоева, моя соседка по парте.

— В смысле? — не понял Вася Шведов. — А-а! Кто ж ее знает.

И обратился ко мне доверительно:

— Вот кого бы я отбучал, так это Рымкевича. Попадись он мне. Прямо его же задачиком и по башке.

— Тише! Тише! — Вокругсмеха остановил урок и посмотрел на нас сквозь очки. — Вам что-то непонятно? Есть вопросы?

«Ну, наконец-то, — подумал я. — Наступил мой звездный час».

— Да! У меня вопрос, — поднялся и даже сделал полшага в проход между партами. — Вот вы говорите, что Чацкий — образ декабриста. Предвестник дворянского революционного движения, так?

— Так, — кивнул Вокругсмеха.

Видно было, что он растерян.

— А я думаю иначе. Какой же он декабрист, если так глупо вступает в препирательства с теми, кто легко может донести на него? В частности с Молчалиным и Фамусовым? У декабристов было Тайное общество. Конспирация! А это просто болтун! Пушкин сказал: Чацкий, конечно, дурак, но Грибоедов очень умен...

Я почувствовал, что класс замер. Покосился на Нонну. Она улыбалась.

— Теперь возьмем Софью... Разве же Чацкий мог не видеть, что она ему изменяет? Он что, слепой? Или глупый?

По наступившей вдруг мертвой тишине я понял, что сказал что-то не то. Даже Нонна отвернулась и смотрела в окно.

Я осекся. Взглянул на Вокругсмеха. Он смотрел на меня.

Потом словно бы увидел свой испачканный мелом пиджак и отрянул его.

— Это твой вопрос? — сказал он.

— Да. — ответил я и сел за парту.

— Понимаешь, если рассуждать чисто психологически, то вполне понятно, почему Чацкий не подозревал Софью. Быть может, он излишне прямолинеен, быть может, некрасив, даже, может, и неталантлив, и, конечно, о карьере речи нет...

Вокругсмеха задумался на мгновение и продолжил:

— Но не замечал он потому, что любил Софью. Когда любишь, то не можешь подумать плохо, понимаешь? И все время уговариваешь себя, что все хорошо. Ты, получается, как слепой.

— И зачем такая любовь? — вдруг сказала Нонна с места. — Вот я бы...

— Нет, нет! — перебил ее Вокругсмеха. — Любовь в данном случае — драматическая пружина...

— Ты же любишь, и тебя же дурят, — сказал Шведов.

И прибавил короткое ругательство.

— Тише, тише! — сказал Вокругсмеха.

И вроде бы в наступившей тишине хотел добавить еще что-то, и даже набрал для этого воздуха в грудь, но передумал. И понес опять привычную пургу из учебника...

После уроков я играл в футбол в школьном спортзале до тех пор, пока не начало смеркаться. Надо было идти домой. Но в коридоре меня окликнул Вокругсмеха:

— Тоже домой не идешь, вольнодумец?

— Иду вот, — хмуро ответил я, опасаясь, что он будет ругать меня за выступление на уроке.

— Мне вот тоже торопиться некуда, — сказал Вокругсмеха. — Иди сюда.

Он стоял у окна, и я подошел к нему.

— Я думаю, ты прав, — сказал он и стал смотреть в окно. Его взгляд блуждал где-то вверху, на крыше второго школьного корпуса. — Ты прав: в нашей литературе слишком много идеологии. И мало человеческих отношений.

Я кивнул, хотя вовсе и не пытался это высказать на уроке.

— Но знаешь, чего еще меньше?

— Чего?

— Смотри. — Он указал на крышу. — Видишь, там скачет ворона?

Я увидел.

— Она скачет туда-сюда. И таскает обертку от мороженого. Зима, холодно, одинокая ворона и обертка. Видишь?

— Вижу.

— Вот этого и не хватает, понимаешь? Никому не интересны ощущения, мгновения, атмосфера, всем нужны типы характера, движение мысли, сюжет, идеологическая борьба. Никому не нужна ворона с оберткой...

Я ничего не понял, но меня вдруг поразила эта ворона; она прыгала там, на крыше, в зимних сумерках. Почему? Зачем? Прыгала давно. Таскала бумажку и ничего не выражала. В рассказе о ней не было мысли, не было ничего типического, никакого сюжета, только вечер, летящий снег, черные пятна гудрона на обледеневшей крыше и серебристая бумажка.

— Думаешь, ей там одиноко? — спросил Вокругсмеха.

— Животным не бывает одиноко, — ответил я неуверенно.

— Жаль, — сказал Вокругсмеха и улыбнулся. — Получается, никому не нужна ворона. Нет в ней движения мысли. Борьбы идей. Что ж, немолчаливое время и его течение...

Он посмотрел на часы. Потом попрощался и пошел по коридору.

Я видел его растрепанную прическу и пиджак, испачканный мелом, еще пару мгновений. Маленький и худой, он брел по коридору.

А когда он ушел, я обернулся и посмотрел в окно. Ворона была все еще там. В сумерках прыгала по крыше. Перетягивала обертку от мороженого с места на место.

В ней не было морали и смысла. Она не участвовала в борьбе идей. Трудно было сказать, глупа она или умна. Она ничего не символизировала и ничего не выражала.

Это была просто никому не нужная ворона.